



ДЕЛО  
О  
МОЛЧАЛИВОМ  
МОНАХЕ

НАНА РҮАВОВА

18+

Хроники Ироничного Сыска

Nana Ryabova

**Дело о Молчаливом Монахе**

«Автор»

2026

## **Ryabova N.**

Дело о Молчаливом Монахе / N. Ryabova — «Автор»,  
2026 — (Хроники Ироничного Сыска)

В старом монастыре найден убитым послушник. Рядом с телом стоит брат Иларион, давший обет молчания. В его руках — старинная книга, на запястье — шрам в виде загадочного символа. Дело поручают детективу Егору Орлову и его напарнице Марине. Но когда к расследованию подключается лучший сыщик города Максим Волков, личное прошлое Орлова превращается в оружие против него. Кто на самом деле стоит за смертями, связанными с легендарной партитурой Витторио? Что скрывает молчание монаха? И почему в этой симфонии лжи и жестокости звучат ноты настоящей любви? Заключительная часть трилогии Хроники Ироничного Сыска о «Молчаливом монахе» — ироничный детектив, где сталкиваются прошлое и настоящее, а правда оказывается страшнее любой мистики.

© Ryabova N., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Пролог. Колокол прозвонил в полночь	5
Глава 1. Каменный гость	8
Глава 2. Хор призраков	16
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# Nana Ryabova

## Дело о Молчаливом Монахе

### Пролог. Колокол прозвонил в полночь

Город осенью — это не место, а состояние души, тягучее и депрессивное, как коньяк плохого качества. Петербург, ведь именно он, несмотря на все попытки замаскировать его под безликий мегаполис небоскребов и билбордов, был сценой для этой кровавой драмы, тонул в хмуром полумраке, переходящем из сумерек в сырые сумерки без промежуточной стадии дня. Дождь, не то морозящий, не то парящий в воздухе ледяной пылью, застилал витрины дорогих бутиков, призрачно мерцающих холодным светом, и грязные, испещренные граффити подворотни с равнодушием вечного, усталого свидетеля. Фонари, желтые и не выспавшиеся, растягивали на мокром асфальте жирные, расплзающиеся блики, в которых путались и растворялись одинокие прохожие, кутаясь в поношенные пальто с поднятыми воротниками и в свои невеселые, мелкие мысли, как в колючие шарфы.

В таком городе самое подходящее место для убийства — старый монастырь, затерянный в каменных джунглях, как забытая богом реликвия. Не тот, что красуется на открытках, с золочеными луковками, ослепляющими в редкий солнечный луч, а тот, что спрятался в глубине кварталов, заживо погребенный под арками доходных домов, как стыдливый грешник. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, вернее, его городское подворье. Строгое, аскетичное здание цвета промокшего гранита и вековой копоти, с узкими, словно бойницы, окнами, за которыми чудилось не теплое свечение лампы, а взгляд слепого. Оно не привлекало взглядов туристов, живя своей тихой, размеренной, затворнической жизнью, отмеряемой не стрелками часов, а ударами колокола — размеренными, как удары сердца аскета.

Но в эту ночь колокол прозвонил не по расписанию.

Его удар, тяжелый, медный, густой, будто отлитый из расплавленной тьмы, разорвал сырую ночную тишину ровно в полночь. Звук не родился наверху, в колокольне, а вырвался из чрева самого здания. Не праздничный перезвон, а один-единственный, протяжный, тоскливый удар-стон, эхо которого замерло в коридорах, так и не растаяв в тумане, а осев на каменные плиты черным звуковым налетом.

Сторож, Федор Семеныч, мужчина с лицом, испещренным морщинами глубже, чем трещины на старинной фреске, и цветом похожим на воск от давно потухшей свечи, услышав его, судорожно перекрестился широким, корявым крестом. Сердце, пошатнувшееся в груди, как колокол на ветхуемой колокольне, забилося неровно и болезненно. Звон был не оттуда. Он шел из тьмы, из-за двери старой библиотеки-архива, что располагалась в самом глухом, неосвещенном крыле подворья, куда даже монахи заглядывали нечасто, а новичков туда и вовсе не пускали, шепча что-то о сквозняках, гуляющих между стеллажами, и о «нехорошей атмосфере».

Федор Семеныч, шаркая стоптанными валенками по холодным, неровным плитам коридора, где воздух был на три градуса холоднее, чем везде, подошел к дубовой, почерневшей от времени и сырости двери, украшенной коваными железными накладками, уже изъеденными ржавыми подтеками ржавчины. Она была приоткрыта на толщину пальца. Из черной щели тянуло знакомым запахом старой бумаги, тлена, застоявшегося воска от лампад и чем-то еще... сладковатым, приторным и тяжелым, как запах перезревших плодов, упавших на сырую землю. Запахом свежей, неостывшей крови, смешавшейся с ладаном.

Желудок Федора Семеныча сжался в холодный комок. Он толкнул дверь, и та со скрипом, похожим на предсмертный хрип, поддалась.

Библиотека была огромным залом с готическими сводами, терявшимися в бархатной, почти осязаемой темноте под потолком. Воздух здесь был густым, неподвижным и спертым, как в запечатанном склепе. Полки, уходящие ввысь черными уступами, были забиты фолиантами в потрескавшихся кожаных переплетах, чьи корешки шелестели, казалось, от самого дыхания вошедшего. В центре зала, под единственным зажженным светильником-паникадиллом, бросавшим неровный, прыгающий круг света, лежало тело.

Молодой послушник Арсений, хрупкий двадцатилетний юноша с льняными волосами и глазами цвета июньского неба, которые теперь, в смерти, стали тусклыми и плоскими, как засиженные мухами стекла. Его лицо, обычно одухотворенное и кроткое, теперь было искажено маской нечеловеческого, застывшего ужаса. Брови взлетели ввысь, губы, тонкие и благочестивые, были оскалены в беззвучном крике, обнажая белые, слишком правильные зубы. Глаза, широко раскрытые, с лопнувшими капиллярами в белках, смотрели не на своды, а сквозь них, словно видели в момент смерти что-то, от чего застыла и свернулась кровь в жилах, а душа сорвалась с последнего пристанища.

Но самое жуткое было не в нем.

Рядом с телом, неподвижно, как изваяние из черного базальта, стоял другой человек. Высокий, худощавый до истощения, облаченный в монашеское одеяние из грубой черной рясы, сливавшейся с тенями. Капюшон был наглухо надвинут на лицо, скрывая его целиком, кроме выступающего вперед лезвия носа и скупого очертания плотно сжатых, бескровных губ. Его руки, длинные, бледные, с тонкими, почти изящными, но жилистыми пальцами и выпуклыми суставами, были сложены на груди в подобии молитвенного жеста. Но в них, вместо креста, он держал массивный, окованный потертым железом и почерневшей кожей фолиант. Пальцы впивались в переплет с такой силой, что костяшки побелели.

Это был брат Иларион. Молчаливый монах.

Он не произнес ни слова, ни звука за все три года, что прожил в монастыре. Считалось, он дал обет вечного молчания, самый строгий из возможных. Шептались, что он искупает грех столь страшный, что словами его не выразить. Молодые послушники обходили его стороной, чувствуя леденящий холод, исходящий от его фигуры даже в жаркий день. Сейчас он стоял, не двигаясь, не дыша, казалось, глядя из-под глухого капюшона на мертвого юношу у своих ног. И в его позе не было ни страха, ни смятения, ни даже святого ужаса. Лишь бездонная, леденящая душу, абсолютная пустота и... ожидание. Как будто он ждал этого. Как актер, вышедший на сцену в нужный момент.

Федор Семеныч, задыхаясь, сдавленно ахнул, и воздух со свистом рванулся в его сжатые легкие. Он отшатнулся, ударившись спиной о косяк двери, и побежал, захлебываясь собственным ужасом. Его крик, силный, разорванный, «*Убили! Монах! Монах убит!*», понесся по каменным лабиринтам подворья, сея панику, сбивая с ног выбегающих из келий перепуганных насельников.

Когда на место, пахнущее теперь не только кровью и тайной, но и потом страха, прибыла полиция и растерянная, бледная, шепчущая молитвы братия, брат Иларион все так же стоял на своем месте. На резкие, грубые вопросы следователя он не отвечал. Не поворачивал головы. Он не сопротивлялся, когда к нему подошли два рослых оперативника, чувствовавших себя кощунственно неуместно в этих стенах. Он просто позволил взять себя под локти. Он просто молчал. Его молчание в тот момент было плотнее гранита стен, страшнее взгляда мертвого послушника и тяжелее того железного фолианта, который он так и не выпустил из рук.

На следующий день ко мне в кабинет, пропахший дешевым кофе, пылью на папках и вечной осенней сыростью, ворвался инспектор Лютиков. Его круглое, обычно добродушное лицо сейчас было цвета переспевшего, чуть тронутого гнильцой лимона. Мешки под глазами оттягивали кожу, делая взгляд затравленным. В пухлых, влажных от нервного пота руках он

сжимал серую картонную папку, от которой, казалось, исходит не физический, а метафизический запах — клубящаяся смесь смерти, ладана и старого пергамента.

— Орлов, — выдохнул он, плюхаясь в кресло с таким видом, будто пробежал марафон по болоту. — Тут такое... монах. В монастыре. Убийство. Мальчика-послушника. И он... он молчит. Вообще. Ни слова. Как статуя. Стоит и молчит. И книга в руках какая-то инкунабула проклятая.

Я медленно отложил перо, которым только что выводил язвительные каракули в почти закрытом деле о пропавшем сиамском коте мадам Зинченко, которая была убеждена, что это похищение с целью шантажа на почве ревности к ее покойному мужу. За окном, в узкой щели между домами, по-прежнему моросил тот же бесконечный дождь. Отличный день, чтобы начать расследование, пахнущее не серой и порошком, а воском свечей, древним ужасом, запечатанным в книгах, и ледяным молчанием, за которым мог скрываться что угодно — от святой простоты до дьявольской расчетливости.

— Инспектор, — сказал я, закуривая сигарету и выпуская струйку дыма в луч настольной лампы, где плясала пыль. — Вы когда-нибудь задумывались, о чем, собственно, молчат монахи? О грехах? О видениях? О том, что нашептывает им тьма в глухую ночь?

Он посмотрел на меня пустыми, уставшими глазами, в которых не было ничего, кроме желания поскорее сбавить эту историю.

— А ты, Лютиков, — продолжил я, прищурившись, — хочешь заглянуть в ту щель, из-за которой они дают обет молчания? Хочешь узнать, что там было такого, что один предпочел смерть, а другой — вечное безмолвие вместо оправдания?

Он сглотнул так громко, что это было слышно даже под вой ветра в вентиляционной шахте. По его лицу, по дрожащему подбородку, было ясно как божий день — он боится. Боится этого места, этого монаха, этой пронизывающей тишины, нарушенной только одним ударом колокола. А я... а я почувствовал, как по позвоночнику, словно по струне, пробежал давно забытый, острый и сладкий трепет азарта. Дело о Молчаливом Монахе, пахнущее скандалом, ересью и сенсацией, было открыто. И я уже знал, что оно будет не о том, кто нанес удар, а о том, почему второй человек в комнате предпочел навсегда захлопнуть за собой дверь в мир слов.

## Глава 1. Каменный гость

Дверь в мой кабинет, старинную, филенчатую, с потертой латунной ручкой в виде львиной головы, открылась не просто так, а с таким порывом, будто ее вышибала не рука, а целая буря, собравшаяся на петербургских улицах. Она — Марина Светлова — стояла на пороге не как человек, а как некое стихийное явление, сметая с широких плеч длинного плаща целые россыпи холодных, сизых капель.

На ней был тот самый длинный кожаный плащ цвета воронова крыла, скульптурно облежавший фигуру, от которого веяло ледяным дыханием каналов, запахом мокрого асфальта и дорогими, сложными духами с нотами бергамота, ветивера и подсушенной на солнце кожи. Ее рыжие волосы, огненно-медные даже в этот бессолнечный день, были собраны в небрежный, чувственный пучок, из которого выбивались непокорные пряди, усеянные мелкими каплями, сверкавшими, как россыпь не огранённых бриллиантов. Лицо — бледное, холеное, с резко очерченными, почти славянскими скулами, прямым носом с едва заметной горбинкой и капризным, полным ртом алого цвета — было напряжено. В уголках губ затаилась усталость, а в глазах — стальное, лихорадочное любопытство.

— Я опоздала? — ее голос, низкий, слегка хрипловатый, с бархатной, чуть опасной ноткой, прорезал спертый, табачный воздух кабинета, смешавшись со скрипом паркета под ее каблуками. — Лютиков уже был? Говорил что-то про какого-то молчаливого монаха? Я видела его машину у подъезда — он отъезжал, и вид у него был, будто его только что вытащили из Невы.

— Был, — кивнул я, лениво указывая на потрепанное кожаное кресло напротив, в котором обычно мучились мои клиенты. — И да, говорил. Присаживайся, высохни. Выглядишь так, будто провела ночь не в постели, а в компании беспокойных призраков на Смоленском кладбище.

— Хуже, — она сбросила плащ с плеч одним резким, привычным движением, открывая стройную, почти юношескую фигуру в облегающем черном свитере из тончайшей кашемировой пряжи и узких, как вторая кожа, джинсах. Она бросила плащ на вешалку, где он повис, словно сброшенная шкура какого-то изящного хищника. — Провела ночь в компании бухгалтерских отчетов и одного наглого партнера, который считает, что деловой ужин должен заканчиваться в его апартаментах. Призраки, поверь, были бы куда приятнее и интеллигентнее в своих притязаниях. Так что за монах? У Лютикова аж пот выступал на лысине, когда он звонил мне.

Я пересказал ей сухие, как монастырские сухари, факты, которые успел выжать из перепуганного инспектора. Тело послушника Арсения в луже запекшейся, почти черной в тусклом свете крови. Полуночный звон, пришедший не с колокольни. Брат Иларион, стоящий над трупом, незыблемый, как готическая статуя, со старинным, окованным железом фолиантом в мертвенной хватке. Его обет молчания, дряхлый годами и не прерванный даже арестом.

Марина слушала, опустившись в кресло и забросив ногу на ногу. Ее длинные пальцы с коротким, идеальным маникюром цвета горького шоколада задумчиво крутили серебряный кулон на тонкой, почти невесомой цепочке — странный символ, что-то среднее между древним ключом и стилизованным кинжалом. Ее глаза, зеленые, как лесная глушь в час перед грозой, сузились, выхватывая из моего рассказа не факты, а пустоты между ними.

— Слишком театрально, — резюмировала она наконец, выпустив кулон, который холодно лег на ключицы. — Стоять с книгой над трупом, как злодей из дешевой готической мелодрамы? Это не спонтанное преступление, это постановка. Ритуал. Кого-то хотели не просто убить, а... обозначить. Запугать всю эту тихую обитель. Или отвести глаза в совершенно другую сторону. Молчаливый монах — слишком удобный громоотвод.

— Первая мысль, которая пришла и мне в голову, — согласился я, прикуривая новую сигарету от старой, наблюдая, как дым кольцами уплывает к потолку, закопченному годами подобных раздумий. — Но наш «главный актер» отказывается не только от роли, но и от любых реплик. Он не говорит ни слова. Вообще. Ни следователям, ни адвокату, которого ему навязали. Никому. Смотрит сквозь людей, как сквозь стены. Его молчание — это уже не обет, это крепость. И мы не знаем, что он там внутри охраняет — святыню или труп.

— Настоящий каменный гость, — в ее голосе прозвучала скептическая, острая ирония. — Ладно. Отталкиваемся от того, что есть. Что мы знаем о жертве? Послушник Арсений. Мальчик, который решил променять папины аптеки на вечность.

Я открыл серую, немятую папку, которую оставил Лютиков. Бумаги внутри пахли казенностью и чужим горем. «Арсений Петров, 24 года. Пришел в монастырь два года назад, без скандалов, по всем канонам. Из внешне благополучной, обеспеченной семьи, отец — совладелец сети «Аптеки Петрова». Учился на историческом факультете СПбГУ, подавал надежды, по словам преподавателей. Бросил на третьем курсе, ушел в подворье. Считался тихим, усердным, немного не от мира сего. Увлекался архивными делами, палеографией, много времени проводил в той самой библиотеке, где его и нашли. Практически жил там».

— Бросил светское, сытое будущее ради кельи, черного хлеба и молитв в четыре утра? — Марина подняла изящную, выщипанную в тонкую ниточку бровь. — Сильный ход. Либо истинное, непреодолимое призвание, что, между нами, большая редкость в наше время... либо он от чего-то бежал. От семьи? От долгов? От себя? Или, может, в монастыре искал не Бога, а укрытие.

— Или кого-то, — добавил я, ощущая, как в памяти щелкает первый, едва уловимый пазл. — Может, прятался. А тот, от кого прятался, все-таки нашел. И наш молчаливый брат Иларион... Что о нем? Лютиков копал, но наткнулся на скалу.

Информация была скудной до неприличия. Иларион, в миру — данные отсутствуют. В монастырь пришел три года назад, зимой. Ни паспорта, ни других документов представлено не было, только устное, но весьма весомое поручительство одного из высокопоставленных священнослужителей синода. Обет молчания — добровольный, принят сразу по поступлении. Занимался физическим трудом: колол дрова, таскал воду, но главное — был переплетчиком, реставрировал старые книги из монастырского собрания. Ни с кем не общался, в трапезной сидел отдельно, взгляд всегда опущен. Ни жалоб, ни просьб. Тень.

— Человек-призрак, — прошептала Марина, и в ее шепоте была не театральность, а холодный аналитический интерес. — Ни прошлого, ни голоса, ни лица, если капюшон надвинут. Идеальный подозреваемый. Слишком идеальный, чтобы быть правдой. Это либо гениальная маскировка, либо... его специально подставили. Сделали козлом отпущения в этом монастырском загоне.

— Значит, пора раскрасить эту черно-белую, аскетичную картину в более сочные, грешные цвета, — я потушил сигарету, раздавив окурок о переполненную пепельницу с таким чувством, будто гашу первую, но не последнюю искру этого дела. — Поехали в монастырь. Посмотрим на нашего каменного гостя и на сцену преступления своими, не верящими в чудеса, глазами. Почувствуем атмосферу. Может, стены там действительно говорят. А мы как раз специалисты по переводу с языка стен на человеческий.

Дорога до Спасо-Преображенского подворья на служебной, невзрачной «Ладе» Лютикова заняла не больше двадцати минут, но за это время город словно сменил декорации, погружаясь в другую эпоху. Шумные, забытые транспортом проспекты сменились тихими, мощеными булыжником улочками, где высокие стены доходных домов с осыпающейся штукатуркой нависали по обе стороны, словно скалы каньона. Воздух стал гуще, холоднее, насыщенней, и в нем явственней, чем где-либо, зазвучал запах влажного, мшистого камня, прелых листьев в

решетчатых водосточных желобах и далекого, едва уловимого дыма — будто топили печи где-то в середине прошлого века.

Монастырские ворота были огромными, дубовыми, почерневшими от времени и непогоды, окованными массивными, коваными полосами черного железа. Они не просто закрывались — они, казалось, всасывались в каменную толщу стены. Нам открыл тот самый Федор Семеныч; его лицо все еще было землистым, серым от испуга, а в глазах, выцветших, как старый лед, плавала немой, животный ужас. Он молча кивнул и повел нас внутрь, шаркая валенками по длинным, пустынным, словно вымерзшим коридорам.

Стены здесь были чудовищной толщины, в два моих размаха руки; они вбирали в себя звук, свет и, казалось, самую надежду. На них, в глубоких нишах, висели потемневшие от времени и копоти иконы в тяжелых, массивных окладах, лики святых едва проступали из тьмы, их глаза, написанные древним мастером, следили за нами с безмолвным, вневременным знанием. Воздух был насыщен плотной смесью запахов — плавящегося воска, горьковатого ладана, старого, сырого дерева, пыли веков и чего-то неуловимого, вечного, метафизического — запахом немой веры, слезного покаяния и страха, вбитого в самые камни.

И сквозь этот гнетущий кокон пробивался еще один, едва уловимый, знакомый до тошноты шлейф — запах не до конца отмытого химического средства, перебивающего человеческую кровь. Он висел в самом конце коридора, у той самой дубовой двери. Двери в библиотеку. В сердце этой тихой, страшной загадки.

Настоятель, отец Паисий, оказался человеком, чей облик казался списанным с древней фрески, посвященной мудрым столпникам. Ему было лет шестьдесят, но не календарных, а тех, что от меряются бессонными ночами в молитвах и тяжестью чужих грехов. Его окладистая борода, густая и седая, как первый иней, ниспадала на грудь, сливаясь с черным, потертым на сгибах подрясником. Но лицо... Лицо было живым, изрезанным глубокими морщинами-трещинами, каждая из которых, казалось, хранила историю. А глаза... глаза были цвета спелой, почти черной сливы, умные, пронзительные, лишённые монашеского смирения, но полные какой-то ясной, усталой печали. Он принял нас в своей келье — маленькой, аскетичной комнатушке с низким потолком, где единственным украшением был простой деревянный крест на беленой стене. Единственное узкое окно, похожее на бойницу, выходило в монастырский сад, теперь представлявший собой меланхоличное зрелище голых, мокрых ветвей и почерневшей от влаги земли. Пахло сушеными травами (чабрецом, зверобоем), дешевым кирпичным чаем и тем особенным запахом одиночества, которое длится десятилетиями.

— Брат Иларион... — отец Паисий тяжело вздохнул, и его пальцы, длинные, сухие, с выпуклыми суставами, автоматически, как четки, начали перебирать складки рясы на коленях. — Он не убийца. В его молчании нет злобы, нет того смрада, что исходит от души, вкусившей насилие. В нем... скорбь. Великая, всепоглощающая скорбь. Она окружает его, как кокон. Или как саван.

— Отец Паисий, чтобы нам помочь ему, а не просто констатировать факт его немоты перед следствием, нам нужно знать, кем он был до этих стен, — мягко, но настойчиво сказала я, уловив в его тоне не только защиту, но и глубинное, личное беспокойство. — Его прошлое. Хоть крупицу.

Настоятель покачал головой, и седые пряди волос, выбившиеся из-под скуфейки, колыхнулись. Жест был исполнен такой безнадежности, что стало холодно.

— Этого не знает никто. Никто из живых здесь. Он пришел три года назад, в ноябрьскую вьюгу, почти замерзший, с одним лишь свертком. И с рекомендацией от владыки Сергия, человека... высокой духовной жизни и большой власти в наших кругах. Я спросил его, давно ли он несет обет молчания, откуда пришел. Он... он не ответил. Не кивнул, не сделал знака. Просто поднял на меня глаза. Таким взглядом, отец мой, от которого кровь стынет в жилах, и

молитва замирает на губах. Взглядом человека, который не просто видел ад на земле, а прошел по его самым пакляным кругам и принес его пепел в своей душе.

Марина, молча осматривавшая скромные книжные полки с душеполезным чтением, обернулась. Свет из узкого окна падал на ее профиль, выделяя высокие скулы и длинные ресницы.

— А послушник Арсений? Он, интересующийся архивами, много времени проводил с братом Иларионом? Была ли у них... связь? Хотя бы молчаливое сотрудничество?

— Арсений... — лицо настоятеля помрачнело, черные сливовые глаза ушли под нависшие веки. — Он был юношей светлым, но со сложным внутренним устройством. Любознательным до беспокойства. Интересовался не просто буквой, а тенью за буквой в старых фолиантах. Иногда я видел их вместе в библиотеке. Иларион сидел за своим столиком с инструментами для переплета, оживляя рассыпающиеся трупы книг своими тонкими, будто хирургическими, пальцами. Арсений корпел над столом, читал, делал заметки своим мелким, бисерным почерком. Но они не разговаривали. С Иларионом, повторюсь, никто не разговаривает. Между ними было... пространство. Наполненное не словами, а чем-то иным. Тишиной, которая сама по себе была диалогом.

— Что это были за книги, которые они изучали? — спросил я, чувствуя, как в солнечном сплетении зашевелился знакомый, охотничий интерес. — В частности, из тех, что интересовали Арсения.

Отец Паисий вздохнул снова, и этот вздох был похож на стон.

— Старинные церковные уставы, монастырские летописи, синодики... и кое-что из светского, мирского наследия. У нас есть так называемый «Фонд графа Воронцова». Алексей Иванович Воронцов был меценатом подворья в позапрошлом веке. Человек богатый, образованный, но... со странностями. Собирал редкие книги, рукописи, в том числе по запрещенной теологии, средневековому оккультизму, древним ритуалам и практикам. Грешил этим, увлекался духовными пропастями. — Он перекрестился широким, нервным жестом. — Арсений как раз получил от меня благословение на разбор и каталогизацию этого архива. Искал, видимо, какую-то конкретную работу.

Марина и я переглянулись одним мгновенным, как вспышка, взглядом. В воздухе, между нами, почти физически щелкнуло. Оккультизм. Редкие, возможно, уникальные книги. Молчаливый монах-переплетчик, имеющий к ним прямой доступ. Любознательный послушник, копавшийся в этом темном наследии. Мертвый послушник. Пазл начинал складываться с тревожным, леденящим шелестом, и вырисовывалась не криминальная, а какая-то мистическая, готическая картина, пахнувшая не порохом, а серой и ладаном.

Нам, после недолгих, но напряженных переговоров, разрешили осмотреть библиотеку. Комната, даже очищенная от прямых следов трагедии, производила гнетущее, почти физически давящее впечатление. Высокие, стрельчатые готические своды, почерневшие от времени, нависали, словно каменные небеса, готовые обрушиться. Воздух был холодным, неподвижным и густым, как кисель. И запах... тот самый, сладковато-тяжелый, металлический привкус крови, хоть и приглушенный химикатами, все еще витал, смешиваясь с горьковатым ароматом старой бумаги, прогоркшего клея и пыли, которой было не меньше, чем в египетской пирамиде. Место, где нашли тело, было аккуратно очерчено мелом, кривым, неровным овалом, похожим на магический круг. На темных, дубовых плитах пола, впитавших за века все мыслимые жидкости, невозможно было не разглядеть темное, почти бурое, въевшееся пятно — немой, укоряющий след.

Я подошел к гигантским стеллажам, чьи полки уходили в полумрак под потолком. Книги. Тысячи, десятки тысяч книг. Я пробежал пальцами по холодным, шершавым или, наоборот, отполированным временем корешкам. Богословие, философия, жития, история... И вот — отдельный, массивный дубовый шкаф, больше похожий на сейф. На медной табличке, тусклой

и зеленой от окиси, было выгравировано: «Фонд Воронцова. Доступ по особому разрешению». Дверца его была не просто открыта — она стояла нараспашку, а внутренний замок, старинный, витиеватый, выглядел так, будто его вскрыли не отмычкой, а грубой силой — вокруг замочной скважины были свежие, светлые зазубрины на темном дереве. Несколько полок внутри пустовали, и пыль на них лежала нетронутым слоем, четко обозначая прямоугольники исчезнувших томов.

— Смотри, — тихо, но четко произнесла Марина, указывая на массивный дубовый стол в углу, заваленный хаотичными стопками бумаг, книгами и канцелярскими принадлежностями. — Рабочее место Арсения. Похоже, его прервали на самом интересном.

Мы подошли, и наше дыхание взметнуло в воздух облачко пыли. На столе лежали разрозненные листы, исписанные тем самым мелким, бисерным, но удивительно четким почерком. Выписки из книг на латыни, староцерковнославянском, даже на каком-то германском наречии. Схемы, напоминающие алхимические символы. И одна, отдельно лежащая страница в клетку из обычной школьной тетради, привлекла мое внимание. Она была приколотая кнопкой к столешнице, будто Арсений хотел, чтобы ее нашли. На ней был тщательно, с почти художественной точностью, нарисован странный, гипнотизирующий символ — переплетение извилистых линий и острых углов, напоминающее одновременно и сложный нотный знак, и стилизованное, ядовитое пламя, и... схему лабиринта. А ниже, тем же почерком, но с более сильным нажимом, была сделана пометка: *«Ключ молчания? Ищем там, где поют камни. Vox petrae. Дойти до тишины.»*

— «Поющие камни»? — фыркнула Марина, но в ее фыркanye не было насмешки, лишь концентрация. — Звучит как претенциозное название эзотерического рок-альбома или самой скучной лекции по геологии. Но «Vox petrae» ... Голос камня. Это уже пахнет чем-то более конкретным и неприятным.

В этот момент в библиотеку, нарушая ее давящую тишину, почти вбежал Лютиков. Его лицо, и без того не отличавшееся румянцем, было теперь цвета простокваши, а на верхней губе блестела испарина.

— Орлов, Светлова... Он здесь. Иларион. Перевели в камеру временного содержания при нашем управлении. И... вы лучше это увидите самим. Это не... это не нормально.

Мы, не задавая лишних вопросов, последовали за ним. Здание городского управления внутренних дел, обычная бетонная коробка конца семидесятых, стала разительным, кощунственным контрастом после монастырской тишины. Здесь пахло дезодорантом, плохим кофе, потом и страхом. Временный изолятор представлял собой комнату без окон, с гладкими, выкрашенными масляной краской стенами цвета запекшейся гороховой каши. И он сидел там.

На единственной жесткой табуретке, прикрученной к полу, спиной к двери. Все в том же черном, грубом монашеском одеянии, которое здесь, под люминесцентными лампами, выглядело анахронизмом, костюмом для спектакля абсурда. Капюшон был по-прежнему наглухо надвинут на голову, скрывая все, кроме кончика носа и сжатых губ.

Он не обернулся, когда скрипнула дверь. Не шевельнулся, не выдал своим телом ни малейшего признака жизни — не дрожали ресницы, не вздымалась грудь. Казалось, это не человек, а чучело, наряженное в рясу, или восковая фигура, забытая в этом казенном подвале. Даже воздух вокруг него казался более спертым и холодным.

— Брат Иларион, — начал я, медленно приближаясь, стараясь, чтобы мои шаги звучали громко, отчетливо, но не угрожающе. — Мы частные детективы. Нас попросили разобраться в том, что случилось. Мы хотим вам помочь. Нам важно услышать вашу сторону.

Никакой реакции. Тишина в комнате стала густой, вязкой, как сироп. Ее можно было резать ножом. Она давила на барабанные перепонки.

— Мы уверены, что вы не виноваты, — вступила Марина, ее голос, обычно такой острый, сейчас звучал нарочито мягко, убедительно, почти ласково. Она сделала шаг в сторону,

стараясь попасть в его периферийное зрение. — Кто-то все подстроил. Подставил вас. Сделал немым козлом отпущения. Помогите нам найти настоящего убийцу. Скажите хоть слово. Кивните. Взгляните на нас.

Ничего. Абсолютное ничто. Казалось, он даже не слышит. Он был погружен в себя настолько глубоко, что достиг дна, где нет ни света, ни звука.

Внезапное, почти иррациональное раздражение, смешанное с леденящим любопытством, подтолкнуло меня. Я сделал резкий, решительный шаг вперед, намереваясь обойти его, встать лицом к лицу, сорвать этот проклятый капюшон, если понадобится, и заглянуть в эту пустоту. И в этот момент он... пошевелился.

Не сразу. Сначала возникло ощущение, что это померещилось. Но нет. Медленно, с почти нечеловеческой, механической плавностью, словно шестеренки в его суставах начали проворачиваться после долгого простоя, он повернул голову в мою сторону. Не все тело, только голова. Угловатый, резкий поворот.

Из-под глубокой тени капюшона на меня упал взгляд.

Я замер на полпути, как вкопанный. Воздух вырвался из легких беззвучным спазмом.

Это были глаза цвета старого, грязного льда на обочине весенней дороги. В них не было ни злобы, ни страха, ни вызова, ни смирения. Не было вообще ничего человеческого. Лишь бездонная, всепоглощающая, космическая пустота. И в этой пустоте, на самой ее черной, недостижимой глубине, утонуло что-то такое, что заставило волосы на затылке и руках медленно, но верно приподняться. Это был не взгляд убийцы. Это был взгляд человека, который давно, очень давно умер, но его тело, по какой-то чудовищной, нелепой ошибке, забыли похоронить. Взгляд, в котором застыла не смерть, а нечто бесконечно хуже — полное, абсолютное отсутствие чего бы то ни было. Даже страдания.

Мгновение, которое последовало, растянулось в вечность. Воздух в камере, и без того спертый, стал густым, как кисель, обволакивая горло. Я не мог оторвать взгляд от его запястья. Кожа там была мертвенно-белой, почти прозрачной, пронизанной синеватыми прожилками. И на этом холсте — шрам. Не грубый, рваный след случайной травмы. Нет. Это было искусно выполненное, четкое, словно выгравированное резцом татуировка-рубец. Символ. Тот самый гипнотический переплет линий, что был на бумаге Арсения: пляшущее пламя, замерзшее в ноте, лабиринт без выхода. Он был выжжен или вырезан давно — края побелели, срослись, но рисунок читался с пугающей ясностью. Метка. Клеймо. Подпись.

Медленно, преодолевая сопротивление ледяного воздуха, я поднял глаза и снова встретился с его взглядом. И в глубине этих сталактитовых озер, в этой кажущейся пустоте, на самое короткое, измеряемое микросекундами, время мелькнула искра. Не понимания, не просьбы о помощи. Это было нечто иное — короткое, яркое, как вспышка магния, предупреждение. Яркая, ослепительная вспышка ужаса, который не имеет отношения к нему самому. И тут же — бездонная, вселенская печаль, в которой тонула эта искра, словно камень в болоте. Он знал. Он знал, что я увидел. И он пытался... нет, не остановить. Предупредить. Словно говорил: *«Остановись. Не иди туда. Это съест и тебя».*

Затем, как будто невидимые шестеренки снова провернулись в обратную сторону, он так же медленно, с той же механической плавностью, отвел взгляд. Его голова вернулась в исходное положение. Он снова замер, уставившись в бетонную стену цвета горохового пюре, видя в ней, быть может, иные, более страшные дали. Тишина вернулась, но теперь она была иной — заряженной, звенящей, как струна после прикосновения.

Мы молча вышли из камеры. Лютиков, прислонившийся к стене в коридоре, вытер платком лоб, на котором выступил липкий, холодный пот, несмотря на прохладу.

— Ну что? Говорит что-нибудь? Хоть моргнул? — спросил он, и в его голосе звучала не надежда, а отчаянное желание получить хоть какую-то зацепку, чтобы сбежать от этой леденящей мистики к простому, грубому насилию.

— Он невиновен, — тихо, но с железной уверенностью произнесла Марина. Она стояла, скрестив руки на груди, будто ей было холодно. Ее зеленые глаза были прищурены, в них плавала аналитическая мысль, оттачиваемая увиденным. — Он не убивал. И он не просто чего-то боится. Он напуган до состояния полного паралича души. Но не за себя. Он... он испуган за кого-то другого. Его молчание — это щит. Глухая, непробиваемая стена, за которой он кого-то прячет. Или что-то.

— А этот символ... — я достал телефон, увеличил фотографию страницы из тетради Арсения и показал Лютикову. — Это ключ. Найди все, что можно выгребсти из архивов об Алексее Воронцове, его коллекции, его связях. Особенно ищи любые упоминания «поющих камней», «Vox petrae», «голоса земли». Это не просто метафора. Для них это было чем-то конкретным. И разужай про любые закрытые музыкальные общества или кружки конца XIX — начала XX века, связанные с мистикой.

Лютиков кивнул, запинаясь, и сунул платок в карман. Его пальцы слегка дрожали.

— Музыкальные общества? Орлов, это же...

— Это дело, Лютиков. Делай, — отрезал я без эмоций. Он кивнул еще раз и быстро удалился по коридору, его шаги гулко отдавались под низкими сводами.

Мы с Мариной остались одни в холодном, пустом коридоре, освещенном мертвенным светом люминесцентных ламп. Где-то капала вода.

— Что думаешь? — спросил я, уставившись на матовое стекло смотрового окошка в двери камеры.

Она повернулась ко мне. На ее бледном лице играли тени.

— Я думаю, что этот монах... он не начало истории. Он ее конец. Или, может, горькая точка в долгом, многоточии. Начало было давно. Очень давно. И оно, похоже, было не тихим, а очень, очень громким. Таким громким, что эхо от того звона бьется в его барабанных перепонках до сих пор. И он решил навсегда оглохнуть. А мы сейчас тычем палкой в это эхо.

Вечер, густой, как чернила, застал нас в моем кабинете. Мы превратили большой дубовый стол в командный центр хаоса. Карта города, фотографии монастыря, крупные планы шрама-символа (сделанные моим зорким объективом украдкой), выписки из интернета, распечатанные биографии — все это образовало бумажный шторм, сквозь который мы пытались разглядеть контуры истины. Дождь стучал в стекло упрямыми, настойчивыми пальцами, словно требовал впустить его внутрь, стать частью этого безумия.

Лютиков прислал первую информацию скучными, но содержательными сообщениями. Граф Алексей Иванович Воронцов (1848-1903) — действительно, фигура колоритная. Богатейший помещик, меценат искусств, спонсор научных экспедиций и... оккультист-практик. Известен был своей одержимостью поиском «первичных вибраций», «музыки сфер» и «голоса матери-земли» (именно так — «Vox petrae»). Собирал не только книги по алхимии и демонологии, но и древние музыкальные инструменты, странные резонирующие кристаллы, метеориты. Ходили слухи о тайных собраниях в его усадьбе, где проводились эксперименты со звуком, светом и... сознанием участников. После его скоропостижной смерти (официально — апоплексический удар) коллекция была частично распродана с молотка за долги, частично, по завещанию, передана в Спаса-Преображенское подворье, с которым графа связывали неясные, но тесные отношения. Завещание, кстати, оспаривалось наследниками, но в силу вступило.

— Музыка сфер... Поющие камни... — Марина протянула руку, ее пальцы с темным лаком коснулись распечатанного рисунка с символом. — А этот знак... Я видела его раньше. Не в книгах.

Я посмотрел на нее, оторвавшись от биографии Воронцова. Удивление было искренним.

— Где?

— В деле Витторио. Алессандро де Санктис, — она произнесла имя медленно, и в воздухе повисло невысказанное. — Том самом, из-за которого мы с тобой чуть не разошлись

навсегда два года назад. Этот символ был выгравирован на внутренней стороне крышки его скрипки, у грифа. Там, где обычно ставят клеймо мастера. Маленький, почти незаметный. Я всегда думала, что это фирменный знак какого-то забытого итальянского литье. Но сейчас... сейчас я не уверена.

Все сходилось с пугающей, неумолимой логикой. Книги из коллекции Воронцова, хранящиеся в монастыре. Музыкальный символ, связывающий убитого скрипача и мертвого послушника. Молчание монаха, которое могло быть не обетом, а проклятием. И тишина, которая, возможно, и была той самой ужасной «музыкой».

Внезапно, разрывая напряженную тишину кабинета, зазвонил мой городской телефон, старый, с дисковым номеронабирателем, который я держу из ностальгии и потому, что его труднее прослушать. Резкий, дребезжащий звук заставил нас обоих вздрогнуть.

Я снял трубку, тяжелую, холодную.

— Орлов.

В ответ — тишина. Но не та, что была в камере Илариона — мертвая, пустая. Эта тишина была живой, напряженной, наполненной. В ней слышалось дыхание на другом конце провода. Медленное, размеренное, нарочито спокойное. Мужское? Женское? Сложно сказать. И сквозь это дыхание, словно сквозь стену, доносился едва уловимый, далекий, но четкий фоновый звук. Словно кто-то тихо, монотонно напевал старую, забытую мелодию без слов. Напев был странным, дисгармоничным, он резал слух, вызывая легкую тошноту где-то в глубине желудка. Это не было колыбельной. Это было заклинанием.

Потом, ровно через тридцать секунд, связь прервалась. Не с щелчком, а словно звук был перерезан тем же лезвием, что и струна Витторио. Тишина.

Я медленно опустил трубку на рычаг. Ладонь была влажной. Я посмотрел на Марину. Она, наблюдая за мной, уже все поняла по бледности моих костяшек и легкому подрагиванию мышцы на моей щеке. Ее собственное лицо стало маской холодной, готовой к бою ярости.

— Они знают, что мы копнем глубже, — сказала она без тени сомнения, ее голос был низким и опасным. — И они не просто предупреждают. Они... представляются. Дают услышать свой голос.

— Да, — я с трудом разжал пальцы и потянулся за сигаретой. Мои движения были неестественно медленными. — И, кажется, их музыкальный вкус... весьма специфичен. Колыбельную они спели не нам. Они ее спели тому, кто уже спит вечным сном. А нам... нам, похоже, готовят партию в своем адском оркестре.

Тьма за окном сгустилась, стала почти осязаемой, жидкой, впитав в себя весь свет уличных фонарей. Она прилипла к стеклу, заглядывая внутрь. Дело о Молчаливом Монахе, которое казалось локальной монастырской драмой, только что распахнуло свои истинные, чудовищные масштабы. И его первая, зловещая нота, прозвучавшая в телефоне, отзывалась в тишине кабинета не предсмертным стоном, а приглашением на танец. Танец, в котором уже споткнулись и пали двое. И наш молчаливый монах был лишь немой фигурой в углу этой огромной, темной бальной залы.

## Глава 2. Хор призраков

Тишина, воцарившаяся после того звонка, была громче любого взрыва. Она не была пустой — она была плотной, тяжелой, насыщенной не озвученными угрозами. Она звенела в ушах назойливым, высокочастотным гулом, густым и нездоровым, как туман над болотом, где гниют столетия. Я медленно опустил трубку в рычаг, чувствуя, как по позвоночнику, позвонок за позвонком, сползает ледяная, липкая струйка пота. Адреналин, брошенный в кровь, бился в висках тупой, отрывистой дробью. Это не был детский розыгрыш или неуместная шутка. Это был вызов, брошенный с холодной, почти академической точностью. Тот самый вызов, где противник не кричит, а шепчет тебе в самое ухо, и от этого его слова, обволакивающие, как яд, становятся в тысячу раз страшнее любого крика.

Марина смотрела на меня, не мигая. Ее зеленые глаза, обычно полные едкой иронии и дерзкой уверенности, сейчас были серьезны и сфокусированы, как у хищной кошки, учуявшей в воздухе не просто добычу, а запах другого, сильного хищника. Ее тело, расслабленное минуту назад, теперь излучало готовность к прыжку.

— Они? — один короткий, отрывистый слог, в котором поместилось все: и понимание, и холодная ярость, и вопрос о дальнейших действиях.

— Они, — хрипло подтвердил я, чувствуя, как табачная сухость во рту смешивается с привкусом железа. — И они не просто следят за нашими движениями. Они дают понять, что мы — не сторонние наблюдатели, а актеры, уже вышедшие на сцену в их извращенном спектакле. И, что самое неприятное, у них, кажется, есть вся партитура, включая наш финальный выход.

Следующие сорок восемь часов прошли в лихорадочном, нервном ритме, стирая границу между днем и ночью. Наш кабинет, обычно являвший собой образец творческого беспорядка, превратился в штаб-квартиру параноидального заговора с устойчивым запахом перегоревшего кофе, горького табачного дыма и нарастающей, почти осязаемой паранойи, которая висела в воздухе, как миазмы. Стены, некогда украшенные старыми картами и карикатурами, теперь были увешаны фотографиями, схемами связей, распечатками архивных документов и картами города с помеченными булавками точками. В центре этой паутины, подобно черному солнцу, царил загадочный символ, тот самый «ключ молчания» или «нота пламени». Он смотрел на нас с десятков увеличенных копий, его извилистые линии, казалось, шевелились в полумраке, словно насмехаясь над нашими попытками понять их суть.

Лютиков, наш верный, вечно потный инспектор, добыл кое-какую информацию, которая не столько проясняла картину, сколько затягивала туман еще плотнее. Коллекция графа Воронцова была не просто странной или эксцентричной — за ней тянулся шлейф мрачных слухов, граничащих с городскими легендами. Поговаривали, что несколько исследователей и библиотекарей, пытавшихся всерьез ее каталогизировать или изучить, либо сошли с ума, описывая «голоса из страниц», либо бесследно исчезали. Последним таким случаем был молодой, подающий надежды историк-архивист, пропавший без вести пять лет назад. Его имя — Глеб Прокофьев. Дело было тихо закрыто за отсутствием зацепок, как будто земля разверзлась и проглотила его вместе с его заметками.

— Глеб Прокофьев... — Марина, развалившись на моем потрепанном кожаном диване, задумчиво чертила в блокноте стрелки и знаки вопроса. Ее ноги в черных узких джинсах были заброшены на подлокотник, а на лице застыла маска глубокой концентрации. — Его сестра, Елизавета Прокофьева, сейчас одна из самых модных и загадочных галеристов в городе. Специализируется на радикальном авангарде, инсталляциях, которые больше похожи на ритуальные алтари, и прочем эзотерическом концепте. Очень замкнутая, нелюдимая особа. Ходят слухи, что после исчезновения брата она... изменилась. Стала одержима темами тишины, резонанса и призрачных отголосков.

— Отличный кандидат в наш хор призраков, — проворчал я, разжигая в камине жалкие остатки поленьев. Холод снаружи, казалось, стал агрессивным, он просачивался сквозь щели в рамах, пробирался под одежду и впивался в кости. — Брат-мистик, пропавший при загадочных обстоятельствах во время изучения проклятой коллекции. Сестра, одержимая искусством, которое граничит с магией. Пахнет благородной мезью с ароматом ладана и абсента.

— Слишком просто, Орлов. Слишком мелодраматично, — отрезала Марина, не отрываясь от блокнота. — Настоящее, глубокое зло редко бывает таким театральным. Оно... бюрократично. Оно прячется за скучными документами, фондами, завещаниями и счетами. Оно носит костюмы и ходит на коктейли. Театр — это для жертв. Для зрителей. А кукловоды предпочитают оставаться в тени кулис.

Но театральность, как будто услышав ее слова, решила доказать обратное. На следующее утро, когда серое, бессолнечное светило только-только попыталось пробиться сквозь пелену облаков, к нам в кабинет явился человек, чья внешность и манера держаться кричали о деньгах так громко и безвкусно, что у меня на мгновение зазвенело в ушах, будто от внезапного хлопка.

Его звали Аркадий Леонидович Стоматов. Владелец сети элитных стоматологических клиник «Стоматов-Дент», коллекционер современного искусства, меценат нескольких музеев и, как поговаривали в определенных кругах, делец, чьи руки были испачканы не только стерильными перчатками, но и весьма грязными сделками по скупке недвижимости в историческом центре. Он вошел без стука, словно покупая не только наше время и внимание, но и самый воздух, которым мы дышали. Мужчина лет пятидесяти с небольшим, но выглядевший на заботливо сохраненные сорок пять. Густые, ухоженные волосы с искусной, дорогой проседью у висков. Лицо — смуглое, гладкое, с едва заметными следами умелой работы пластического хирурга, убравшего мешки под глазами и подтянувшего овал. Но главным были его глаза — пронзительного, холодного голубого цвета, цвета льда на глубине. Они оценивали, сканировали, присваивали. Его костюм — темно-серый, с легким отливом, явно сшитый для него лично в одной из тех лондонских мастерских, куда просто так не попасть, — сидел на его подтянутой фигуре безупречно, как вторая кожа. На его запястье, из-под идеально отутюженной манжеты, выглядывали часы марки, стоимость которой примерно равнялась моей годовой аренде за этот кабинет и всеми мыслимыми бонусами.

— Господин Орлов, мадемуазель Светлова, — его голос был бархатным, сытым, привыкшим к тому, что его слушают. В нем не было ни капли неуверенности. — Мне сказали, что вы занимаетесь этим... грязным делом в монастыре. Дело послушника Арсения.

— Мы расследуем убийство, если вы об этом, — сухо, с ледяной вежливостью парировала Марина, с явным, нескрываемым отвращением разглядывая его лакированные туфли из кожи какого-то экзотического животного. Ее поза выражала полное неприятие. — Чем можем быть полезны, господин Стоматов? Вам требуется детективные услуги? Или, может, отбеливание репутации?

Стоматов непринужденно уселся в кресло для клиентов, разглядывая кабинет с легкой, брезгливой усмешкой человека, зашедшего в труппы из любопытства. Его взгляд скользнул по закопченным стенам, грудам бумаг и символа на доске, задержавшись на нем на долю секунды дольше, чем на остальном. В его глазах не было удивления. Было узнавание.

— Послушник Арсений... Печальная, бесполезная история. Я его знал. Спонсировал его скромные исследования. Талантливый был юноша. С необычным складом ума. Увлекался историей музыки, особенно редкими, забытыми композициями. В частности, творчеством того самого... несчастного Витторио.

В воздухе повисла напряженная, звенящая пауза. Марина замерла, ее пальцы, лежавшие на столе, сжали край так, что костяшки побелели, а тонкие серебряные кольца врезались в кожу. Я видел, как по ее спине пробежала судорога, но лицо осталось каменным.

— Вы знали Витторио лично? — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал нейтрально, почти скучающе, хотя внутри все сжалось в комок.

— Конечно, — Стоматов сделал воздушный жест рукой, и бриллиант в его запонке бросил на стену ядовитый блик. — Я не просто знал. Я спонсировал его последний концертный тур. Гениальный скрипач. Непонятый. Его смерть... большая потеря для мира искусства. — В его глазах, этих холодных голубых озерах, на секунду мелькнуло что-то неуловимое. Не печаль, не скорбь. Скорее, раздраженная досада, как от потери редкой, дорогой безделушки, которую уже не вернешь.

— И что же конкретно исследовал Арсений, на ваши деньги? — вернула разговор в жесткое, деловое русло Марина, ее голос звучал как лезвие. — И почему именно вы, успешный бизнесмен, заинтересовались каким-то послушником и его архивными изысканиями?

— Он искал одну конкретную вещь, — продолжил Стоматов, явно наслаждаясь своей ролью посвященного. — Последнее, незавершенное произведение Витторио. Рабочее название — «Каменная литургия» или что-то в этом роде. Говорили, она обладала... уникальными акустическими и психоактивными свойствами. Сложнейшая полифония, построенная на древних ладах и математических расчетах, взятых из гримуаров Воронцова. Теория гласила, что тот, кто сможет ее правильно, чисто исполнить на определенном инструменте в определенном месте... услышит голоса самих камней, земли. Обретет доступ к своего рода... первозданной силе, скрытой в вибрациях материи. Или сойдет с ума, не выдержав диссонанса. Граф Воронцов потратил состояние, пытаясь воссоздать или найти эту партитуру. А ваш покойный послушник Арсений, судя по всему, нашел новые зацепки.

— И вы, будучи практичным, трезвомыслящим бизнесменом, верите в эту оккультную чепуху? — я не смог сдержать едкого сарказма, разливая в две потрескавшиеся фарфоровые чашки холодный кофе. — Сила в нотах? Звучит как сюжет для дешевого фэнтези.

Стоматов улыбнулся. Улыбка была холодной, безжизненной, как у хищной рыбы. Она обнажила идеальные, слишком белые зубы, которые выглядели почти фарфоровыми в полумраке кабинета.

— Дорогой мой Орлов, в нашем мире настоящая сила редко лежит на поверхности, как купюра в кошельке. Иногда она записана между строк. Или, как в данном случае, между нотных линейек. Я не верю в сказки. Я верю в эффекты. И если какая-то комбинация звуков может влиять на... ну, скажем так, на восприятие реальности или на коллективное бессознательное, то это уже не чепуха, а инструмент. Очень ценный инструмент. Я хочу, чтобы вы нашли эту партитуру. До того, как она попадет в руки к фанатикам, невеждам или нашим дорогим конкурентам. Что касается вашего молчаливого монаха... я готов приложить усилия, чтобы его имя было очищено. У меня есть влияние в определенных кругах, включая те, что курируют церковные дела.

— Почему вы так уверены, что она еще не найдена? — встряла Марина, ее голос звенел, как лезвие бритвы. Она сидела, откинувшись на спинку стула, и смотрела на Стоматова с таким видом, будто рассматривала насекомое под микроскопом. — Может, Арсений ее нашел, и именно за это поплатился? Или сам брат Иларион уже давно выучил ее наизусть, сидя в своей келье?

— Потому что, милая моя, если бы ее уже нашли и, главное, правильно использовали, мы бы все об этом знали, — отрезал Стоматов, и в его голосе впервые прозвучала сталь. — Город бы... изменился. Или просто взорвался от резонанса. Случилось бы нечто, что нельзя было бы скрыть. Я предлагаю вам гораздо более весомый, пятизначный гонорар, чем все ваши скучные дела о пропавших кошках и неверных мужьях вместе взятые. Найдите партитуру. Принесите ее мне. Остальное — не ваша забота. Не лезьте в прошлое глубже, чем нужно для этой конкретной задачи. Это не совет. Это условие сотрудничества.

Он встал, поправил идеальный узел галстука и оставил на краю моего заваленного стола визитку из толстого, глянцевого картона с выгравированным именем и единственным, платиновым номером телефона. Затем развернулся и вышел, не сказав больше ни слова. В кабинете остался его шлейф — дорогой, тягучий парфюм с нотками кожи, пачули и чего-то горького, похожего на миндаль, смешанный с ощущением плотной, липкой нечистоты, как после прикосновения к купюре, побывавшей в тысячах рук.

— Ну что, — Марина с откровенным отвращением, кончиками ногтей, как будто поднимая что-то мертвое, взяла визитку. — У нас появился антагонист прямо из глянцевого журнала. Настоящий злодей из мыльной оперы с бюджетом в миллиард. Он даже пахнет злодеем — дорого и токсично.

— Не торопись вешать на него все лавры, — я подошел к окну, отдернул засаленную штору и смотрел, как его длинный, черный лимузин с тонированными стеклами бесшумно растворяется в потоке серых городских машин, будто его и не было. — Он не главный. Он — пешка, которая возомнила себя ферзем. Умная, богатая, опасная пешка, но пешка. Настоящая игра, та, что началась со смертью Воронцова и проходит через Витторио и Арсения, идет гораздо глубже. Он просто хочет урвать свой кусок с этого темного пирога. И, кажется, очень боится, что этот кусок достанется кому-то еще.

Наш следующий визит, продиктованный интуицией и необходимостью копнуть в сторону от навязчивого предложения Стоматова, был к Елизавете Прокофьевой. Ее галерея современного искусства «Белый Шум» располагалась в отреставрированном особняке эпохи модерна на одной из тихих, мощеных улочек Петроградской стороны. Сам особняк был шедевром: лепнина, витражи, изогнутые линии. Но внутри царила стерильная, почти патологическая чистота, нарочитая и пугающая. Все было выбелено: стены, пол, потолок. Даже воздух казался белым и безвкусным. Холодный, яркий, безупречный свет лился из встроенных в потолок светильников, не оставляя теней, выжигая любую тайну. На этом безупречном фоне, как кровавые подтеки или гнойные нарывы, кричали экспонаты: абстрактные металлические конструкции, напоминавшие орудия пыток; видеоинсталляции с искаженными, кричащими в беззвучии лицами; груды битого зеркального стекла, собранные в идеальные пирамиды; холсты, испещренные черными, хаотичными линиями. Здесь пахло краской, холодным металлом, озоном от электроники и подспудным страхом.

Сама Елизавета оказалась женщиной-призраком, живым воплощением своего «Белого Шума». Худая до болезненности, почти анорексичка, она была облачена в простое черное платье-футляр без единого украшения, которое висело на ней, как на вешалке. Ее короткие, темные, как вороново крыло, волосы были зачесаны назад гелем, открывая высокий, нервный лоб и огромные, почти полностью черные от расширенных зрачков глаза. В этих глазах стояла неизбывная, застывшая тоска, смешанная с отрешенностью. Ей можно было дать и тридцать, и сорок пять — возраст стерся, съеденный внутренним напряжением.

— Мой брат, — ее голос был тихим, ровным, монотонным, словно она давно забыла, как выражать эмоции, или выжгла их из себя каленым железом. — Глеб. Он был одержим. Этими книгами Воронцова. Этой... музыкой, которой не было. Он говорил, что нашел путь к вечности не в будущем, а в прошлом. В резонансе. Говорил, что тишина в монастыре — это не отсутствие звука, а иная его форма. Более чистая, более... мощная. Он искал способ ее услышать. А потом — воспроизвести.

— Он общался с братом Иларионом? В монастыре? — спросила Марина, стараясь говорить помягче, но ее голос все равно звучал резко на фоне этой гнетущей белизны.

Елизавета медленно, как в трансе, покачала головой. Ее шея казалась хрупкой, как стебель.

— Нет. Иларион пришел уже после... после того, как Глеб исчез. Но иногда... иногда я думаю, что он стал частью того, что искал мой брат. Частью той самой тишины. Он — ее

живое воплощение. Ее страж. Или ее жертва. — Она вдруг плавно поднялась и подошла к одной из инсталляций в центре зала. Это была черная, кованая из матового металла решетка сложной формы, отдаленно напоминающая и нотный стан, и схему молекулы. Из ее глубин доносился едва слышный, но назойливый, низкочастотный гул, который вибрировал где-то в районе солнечного сплетения. — Это его последняя работа. «Гимн молчанию». Он оставил ее мне за неделю до того, как ушел в монастырь в последний раз. Сказал: *«Когда захочешь услышать меня, включи это. Но только если готова»*. Я не была готова. Я так и не включила. Но иногда... иногда оно включается само.

Я прислушался. Гул нарастал, не становясь громче, но глубже, проникая в кости. В нем, в его обертонах, угадывался тот же дисгармоничный, тревожный частотный рисунок, что и в том ночном звонке. Это была не музыка. Это был звуковой вирус.

— Вы знакомы с Аркадием Стоматовым? — резко, почти грубо спросил я, нарушая гипнотическую атмосферу.

На ее лице, этом бледном, почти восковом маске, впервые мелькнула живая эмоция — быстрый, яростный спазм страха. Он искажил ее черты на мгновение, как рябь на воде от брошенного камня, и тут же погас, оставив после себя лишь чуть более глубокую пустоту в глазах. Она отвела взгляд, ее пальцы с тонкими, некрашеными ногтями вцепились в собственные локти.

— Он... покупал ранние работы Глеба. Еще до его увлечения этой... ересью. Потом, когда Глеб начал копаться в архивах Воронцова, Стоматов стал проявлять к нему интерес. Слишком активный, слишком навязчивый. Приглашал на ужины, предлагал финансирование, хотел быть... партнером. Глеб отказывался. Говорил, что у Стоматова «слух не тот, он слышит только звон монет». А потом... потом Глеб исчез. А Стоматов пришел ко мне и предложил купить все черновики, все записи. Я... я отказалась. Он тогда посмотрел на меня. Не зло. С холодным сожалением, как на испорченный товар. Сказал: *«Жаль. Вы могли бы стать очень богатой женщиной. Теперь вы просто станете... ничем»*.

Мы вышли из галереи «Белый Шум» с тяжестью на душе, свинцовой усталостью за глазами и гудящими, будто после концерта тяжелого рока, барабанными перепонками. Хор призраков, звучащий в нашем расследовании, пополнился новыми, трагическими голосами: пропавший мистик-брат, искавший голос тишины; его сестра-затворница, живущая в белом кошмаре его памяти; и циничный бизнесмен-стервятник, кружащий над этой болью в поисках добычи. И над всей этой многослойной, звучащей немой симфонией горя и алчности, возвышалась безмолвная, непроницаемая фигура брата Илариона, связанная со всеми ними невидимыми, туго натянутыми нитями, каждая из которых могла оказаться петлей.

Вечер опустился на город, как пропитанная дымом и тоской бархатная мантия. Мы с Мариной нашли пристанище в баре «Якорь», расположенном в подвале старого доходного дома недалеко от моей квартиры. Это было не заведение, а скорее грязноватый, но честный притон, где свет, тусклый и медовый, исходил от нескольких ламп под абажурами из темного стекла, а на полках за стойкой стояли бутылки с выцветшими этикетками, в которых содержалась вся история алкогольного отчаяния последних двадцати лет. Запах — густая смесь старого дерева, перегара, дорогого табака и подпорченного лимона — обволакивал, как одеяло. Мы засели в угловой кабинке, обитой потертой кожей, где тени лежали особенно густо.

Мы молчали, поглощая первый, а затем и второй виски. Два больших бокала «Лаф-роага», торпедообразных, тяжелых в руке. Напряжение последних дней, как низкочастотный гул, висело, между нами, осязаемое и плотное. Его можно было пощупать. Оно было в резком движении, которым Марина закидывала ногу на ногу, в том, как мои пальцы барабанили по липкой поверхности стола, в быстрых, настороженных взглядах, которые мы бросали на дверь каждый раз, когда она открывалась, впуская очередную порцию холодного воздуха и чужих жизней.

— Знаешь, что меня бесит до тошноты, до зубовного скрежета? — наконец выдохнула Марина, осушая свой бокал до дна и с силой ставя его на стол. Звук был громким, почти вызывающим. — Вся эта мистическая, готическая мишура. «Поющие камни», «музыка сфер», «голос земли» ... Чужь собачья. Пыль в глаза. За этим всегда, всегда стоит что-то простое, уродливое и приземленное. Деньги. Власть. Старая, как мир, месть. Всегда одно и то же. И все эти символы, ритуалы — просто театр для идиотов.

— А что, если в этот раз нет? — я поймал взгляд бармена, лысого великана с якорем на предплечье, делая едва заметный знак — повторить. — Что, если Стоматов, при всей своей омерзительности, прав? Что если эта проклятая партитура — реальное, физическое оружие? Не метафорическое, а такое, которое может что-то сломать. Не камни, а... психику. Город. Не знаю.

Она посмотрела на меня через край нового бокала, и в ее зеленых, теперь слегка затуманенных глазах заплясали знакомые чертики скепсиса и вызова.

— Ты начинаешь верить в сказки, Орлов. Устал? Голова пухнет от всей этой белизны и тишины? Может, тебе отпуск нужен, а не расследование?

— Я устал не от сказок, — мой голос прозвучал тише, но жестче. — Я устал от людей, которые используют эти сказки как оправдание, чтобы резать глотки, ломать жизни и хоронить правду. И этот звонок... это не сказка. Это вполне реальная угроза, доставшаяся нам по телефону.

Мы выпили. Второй виски разлился внутри теплой, смолистой волной, размягчая острые углы сознания, снимая часть брони. Третий, последовавший за ним, сделал воздух, между нами, менее колючим. Мы постепенно перестали говорить о деле, о мертвых, о символах. Мы говорили о ерунде. О бездарном фильме, который шли по телевизору в баре, о глупом анекдоте, который Лютиков рассказал утром, о том, как дорожает кофе. Мы смеялись — сначала сдержанно, потом все свободнее, и ее смех, хрипловатый, чуть сиплый, заполнял наше угловое пространство, отгесняя тень.

И в какой-то момент, посреди ее рассказа о пьяном художнике, который пытался подарить ей свой портрет, я поймал себя на том, что смотрю на нее не как на напарника, коллегу или союзника в этой грязной войне. Я смотрел на изгиб ее шеи, длинный, изящный, где под кожей билась живая, синяя вена. На капельку виски, золотую и липкую, застывшую на ее полной нижней губе. На то, как рыжие, огненные пряди выбились из небрежного пучка и мягко, как перья, касались ее щеки, чуть тронутой румянцем от алкоголя.

Она это почувствовала. Ее смех стих не сразу, а замер, перешел в тихую, задумчивую улыбку. Она повернулась ко мне, и ее взгляд из насмешливого, озорного стал томным, тяжелым, утяжеленным тем же виски и чем-то еще, что висело в воздухе уже давно. Ее зеленые глаза, обычно такие яркие и колкие, теперь казались глубокими, темными озерами в полумраке.

— Что? — тихо спросила она, и ее голос был низким, почти шепотом, который перекрыл шум бара.

— Ничего, — я произнес, и моя рука, будто сама по себе, потянулась через стол. Я смахнул ту самую прядь волос с ее щеки. Кончики моих пальцев едва коснулись кожи. Она была обжигающе горячей, бархатистой. — Просто... устал от всей этой тишины. От ожидания. От того, что все вокруг только молчат, шепчутся или поют какие-то проклятые колыбельные. Хочется... живого звука.

Она не отвела взгляд. Не отстранилась. Ее губы, алые, влажные, чуть приоткрылись на едва слышном вдохе.

— И что ты предлагаешь? Сорвать криком эту тишину?

Я не стал отвечать словами. Ответ был в электричестве, что пронзило воздух, между нами. Я наклонился через стол, преодолевая сопротивление липкой поверхности и пространства. И поцеловал ее.

Это был не нежный, не исследовательский поцелуй. Это был поцелуй-взрыв, поцелуй-выпускной клапан для всего, что копилось неделями: ярости, страха, бессилия, смертельной усталости и того дьявольского, первобытного влечения, что тлело, между нами, с первой же нашей встречи, когда она вошла в мой кабинет с видом королевы, заблудившейся в трущобах. Ее губы ответили мне с той же яростной, отчаянной силой. Они были сладкими от виски и солеными от чего-то еще. Она вцепилась пальцами в мои волосы у висков, притягивая ближе, почти болезненно, и ее язык встретился с моим в жарком, хаотичном, диком танце, в котором было больше битвы, чем ласки. Вкус ее был огнем и медом, и я тонул в нем, забывая о барной стойке, о людях вокруг, о всем городе за стенами.

Мы вывалились из бара на холодную, промозглую улицу, не выпуская друг друга. Свежий воздух ударил в лицо, но не остудил пыл, а лишь подстегнул его. Я прижал ее к шершавой, холодной кирпичной стене дома, продолжая целовать, глубже, отчаяннее. Ее тело, гибкое и сильное, прижалось ко мне всей длиной, я чувствовал каждый изгиб через тонкие слои одежды — упругость груди, впадину талии, линию бедер. Она стонала прямо мне в рот, низкие, хриплые звуки, от которых кровь ударила в голову. Ее руки скользнули под мою кожаную куртку, под свитер, и ее ладони, горячие и цепкие, прижались к моей спине, впиваясь коротко остриженными ногтями в кожу. Боль была острой, сладкой, ясной.

— Твоя квартира. Ближе, — прошептала она, разрывая поцелуй. Ее дыхание было горячим, прерывистым, облачко пара вырывалось из ее уст в морозный воздух. Глаза горели во тьме, как у волчицы.

Мы едва дошли, спотыкаясь, цепляясь друг за друга, наши рты снова и снова находились друг друга в коротких, жадных поцелуях. В лифте, маленьком, позвякивающем ящике, я прижал ее к зеркальной стене, целуя ее шею, основание горла, чувствуя под губами бешеную, частую пульсацию крови в ее сонной артерии. Она запрокинула голову, оперев ее о зеркало, ее глаза были закрыты, длинные ресницы отбрасывали тени на щеки. На ее лице застыла маска томления, полного, животного желания и той же усталости, что гнала нас навстречу друг другу. Ее руки скользнули у меня под рубашкой, проводя ладонями по мышцам живота, груди.

В моей квартире, в полумраке прихожей, пахнущей старыми книгами, пылью и одиночеством, мы не стали искать выключатель. Темнота была нашим союзником, нашим укрытием. Одежда — помеха, от которой нужно было избавиться срочно, почти яростно. Куртка, свитер, ее тонкая водолазка, ремень, джинсы — все летело на пол, на старый паркет, с шелестом и глухими стуками. И вот, наконец, кожа к коже. Горячая, живая, слегка влажная. Ее тело было именно таким, каким я, случалось, представлял его в самые неподходящие моменты: длинным, гибким, с изящными, но сильными мышцами, с упругой, невысокой грудью, тонкой, почти юношеской талией и крутыми, гладкими бедрами. Я прижимал ее к себе, чувствуя, как ее соски твердеют от прикосновения к моей груди, как все ее тело слегка вздрагивает в предвкушении.

Не было нежностей, долгих ласк. Была только жадная, стремительная необходимость, страх, что этот хрупкий миг сломается, исчезнет под напором внешнего мира. Я поднял ее, и она мгновенно обвила меня ногами вокруг бедер, мы, сплетенные, рухнули на широкий, потертый диван в гостиной, сбив с него стопку книг и пустую пепельницу. В темноте слышался только наш прерывистый лов воздуха, скрип старой пружины и стук собственного сердца в ушах.

Я покрывал поцелуями ее тело, как карту, которую нужно изучить наизусть и немедленно: ключицы, грудь — я взял ее сосок в рот, чувствуя, как она выгибается подо мной со стоном, живот, дрожащий от напряжения, внутреннюю сторону бедер, такую нежную, почти сияющую в темноте. Она извивалась, ее пальцы спутывались в моих волосах, то притягивая, то слегка

отталкивая, ее дыхание становилось все чаще, громче. Когда я, наконец, коснулся ее самой сокровенной, горячей и уже влажной точки, она резко вскрикнула и вцепилась мне в плечи, ее ногти впились в кожу.

— Хватит... сейчас... нужно тебя, — выдохнула она почти яростно, срывая с меня остатки рубашки.

Когда я вошел в нее, она вскрикнула снова — коротко, резко, как от удара, и ее ноги сомкнулись у меня на спине, притягивая глубже. Дальше не было ни мыслей, ни расследований, ни монахов, ни звонков. Был только ритм — дикий, первобытный, сбивающий дыхание и рассудок. Были ее стоны, которые она глушила, прикусывая мое плечо, были ее ногти, впивающиеся мне в спину и ягодицы, оставляя горячие, болезненные полосы. Было ее тело, двигавшееся в унисон со мной, отчаянное и совершенное в своей отдаче. Волна накатила на нее внезапно: ее тело затряслось в мощной судороге, она закричала, запрокинув голову, и ее внутренние мышцы сжали меня так сильно, что белый свет взорвался у меня перед глазами. Еще несколько толчков, глухих, неконтролируемых, и я рухнул за ней в эту пучину, изливаясь в нее с долгим, хриплым стоном, похороненным в ее шее.

Мы лежали, тяжело дыша, облитые горячим потом, смешавшимся в одно целое, в полной, благословенной темноте. Воздух был густым от запахов секса, кожи, алкоголя и наших духов. Ее голова лежала на моей груди, ее рука все так же цепко сжимала мое предплечье, как будто боялась, что я исчезну. Ее рыжие волосы были растрепаны и пахли дымом, виски и ею.

— Вот черт, — тихо, с нескрываемым удивлением выдохнула она через несколько минут. Ее голос был хриплым от напряжения. — А я-то думала, твои основные пороки — это горький кофе, дешевые сигареты и сарказм. Оказывается, список гораздо интереснее.

Я рассмеялся, ощущая непривычную, почти болезненную легкость во всем теле и странную пустоту в голове, где еще недавно кипели загадки.

— Ну, знаешь, даже у старых циников есть слабости. И иногда эти слабости бывают рыжими, ядовитыми и невероятно красивыми.

Она щипнула меня за бок, но беззлобно, и прижалась ближе. Мы молчали несколько минут, слушая, как затихает наш пульс, как где-то за стеной едет лифт, как скрипит старый дом. Это была иная тишина — теплая, живая, наполненная доверием и усталостью.

И в этой самой тишине, как ледяной нож, режущий теплое масло, снова зазвонил мой телефон. Он лежал где-то на полу, в куче нашей одежды, и его вибрация отдавалась глухим, настойчивым жужжанием по паркету.

Ледяная струя страха пронзила все тепло, что только что согревало меня изнутри. Марина приподнялась на локте, ее расслабленное тело мгновенно напряглось. Ее силуэт в темноте был резким, настороженным.

— Не бери, — сказала она тихо, но твердо. — К черту. Пусть звонит.

Но я уже сполз с дивана, нащупал босой ногой куртку и, вытащив из кармана звенящий и вибрирующий аппарат, поднес его к уху. Сердце колотилось где-то в горле.

— Орлов.

И снова — тишина в трубке. Но на этот раз она была иной. В ней не было того дисгармоничного напева. Было что-то другое, гораздо более приземленное и от того — более жуткое. Легкий, едва уловимый, но отчетливый скрежет. Металлический, ритмичный. Как будто кто-то с упорством маньяка точит длинный нож о точильный камень. Или... или перелистывает страницы очень старой, толстой, пергаментной книги, покрытой пылью веков. Скрежет, пауза, скрежет.

Потом — один четкий, громкий щелчок. Как будто крышка того самого фолианта захлопнулась. И снова — абсолютная, мертвая тишина.

Я медленно опустил телефон. В глазах стояли круги от напряжения и темноты. Марина сидела на диване, обхватив колени, и смотрела на меня. Ее глаза в полумраке казались огромными, бездонными черными озерами, в которых отражался тусклый свет с улицы.

— Они? — спросила она односложно, и в этом слове был весь наш мир последних дней.

— Они, — мой голос прозвучал чужим, усталым. Я сел на край дивана, чувствуя, как липкий, холодный ужас снова накрывает с головой, смывая последние следы тепла и близости. — И, кажется, они только что дали нам предельно ясно понять, что антракт окончен. За репетицией следует основной спектакль. И нам, судя по всему, в этом спектакле отведена роль не зрителей, и да

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.